

Метель

I

В седьмом часу вечера я, напившись чаю, выехал со станции, которой названия уже не помню, но помню, где-то в Земле Войска Донского, около Новочеркаска. Было уже темно, когда я, закутавшись в шубу и полость, рядом с Алешкой уселся в сани. За станционным домом казалось тепло и тихо. Хотя снегу не было сверху, над головой не виднелось ни одной звездочки, и небо казалось чрезвычайно низким и черным сравнительно с чистой снежной равниной, расстилавшейся впереди нас.

Едва миновав темные фигуры мельниц, из которых одна неуклюже махала своими большими крыльями, и выехав за станицу, я заметил, что дорога стала тяжелее и засыпаннее, ветер сильнее стал дуть мне в левую сторону, заносить вбок хвосты и гривы лошадей и упрямо поднимать и относить снег, разрываемый полозьями и копытами. Колокольчик стал замирать, струйка холодного воздуха пробежала через какое-то отверстие в рукаве за спину, и мне пришел в голову совет смотрителя не ездить лучше, чтоб не проплутать всю ночь и не замерзнуть дорогой.

– Не заблудиться бы нам? – сказал я ямщику. Но, не получив ответа, яснее предложил вопрос: – Что, доедем до станции, ямщик? не заблудимся?

– А бог знает, – отвечал он мне, не поворачивая головы, – вишь, какая поземная расходится: ничего дороги не видать. Господи-батюшка!

– Да ты скажи лучше, надеешься ты довести до станции или нет? – продолжал я спрашивать. – Доедем ли?

– Должны доехать, – сказал ямщик и еще продолжал говорить что-то, чего уже я не мог расслышать за ветром.

Ворочаться мне не хотелось; но и проплутать всю ночь в мороз и метель в совершенно голой степи, какова эта часть Земли Войска Донского, казалось очень невесело. Притом же, несмотря на то, что в темноте я не мог рассмотреть его хорошенько, ямщик мой почему-то мне не нравился и не внушал к себе доверия. Он сидел совершенно посередине, с ногами, а не сбоку, роста был слишком большого, голос у него был ленивый, шапка какая-то не ямская – большая, раскачивающаяся в разные стороны; да и понукал он лошадей не так, как следует, а держа вожжи в обеих руках, точно как лакей, который сел на козлы за кучера, и, главное, не доверял я ему почему-то за то, что у него уши были подвязаны платком. Одним словом, не нравилась и как будто не обещала ничего хорошего эта серьезная сгорбленная спина, торчавшая передо мною.

– А по-моему, лучше бы воротиться, – сказал мне Алешка, – плутать-то что веселого!

– Господи-батюшка! вишь, несет какая кура! ничего дороги не видать, все глаза залепило... Господи-батюшка! – ворчал ямщик.

Не проехали мы четверти часа, как ямщик, остановив лошадей, передал вожжи Алешке, неловко выпростал ноги из сиденья и, хрустя большими сапогами по снегу, пошел искать дорогу.

– Что? куда ты? сбились, что ли? – спрашивал я; но ямщик не отвечал мне, а, отвернув лицо в сторону от ветра, который сек ему глаза, отошел от саней.

– Ну что? есть? – повторил я, когда он вернулся.

– Нету ничего, – сказал он мне вдруг нетерпеливо и с досадой, как будто я был виноват в том, что он сбился с дороги, и, медлительно опять просунув свои большие ноги в передок, стал разбирать вожжи замерзлыми рукавицами.

– Что ж будем делать? – спросил я, когда мы снова тронулись.

– Что ж делать! поедем куда бог даст.

И мы поехали тою же мелкой рысью, уже очевидно целиком, где по сыпучему в четверть снегу, где по хрупкому голому насту.

Несмотря на то, что было холодно, снег на воротнике таял весьма скоро; заметь низовая все усиливалась, и сверху начинал падать редкий сухой снег.

Ясно было, что мы едем бог знает куда, потому что, проехав еще с четверть часа, мы не видали ни одного верстового столба.

– Что, как ты думаешь, – спросил я опять ямщика, – доедем мы до станции?

– До которой? Назад приедем, коли дать волю лошадям: они привезут; а на ту вряд... только себя погубить можно.

– Ну, так пускай назад, – сказал я, – и в самом деле...

– Стало, ворочаться? – повторил ямщик.

– Да, да, ворочайся!

Ямщик пустил вожжи. Лошади побежали шибче, и хотя я не заметил, чтобы мы поворачивали, ветер переменялся, и скоро сквозь снег завиднелись мельницы. Ямщик приободрился и стал разговаривать.

– Анадьсь так-то в заметь обратные с той станции поехали, – сказал он, – да в стогах и ночевали, к

утру только приехали. Спасибо еще к стогам прибились, а то все бы чисто позамерзали – холод был. И то один ноги позаморозил, так три недели от них умирал.

– А теперь ведь не холодно и потише стало, – сказал я, – можно бы ехать?

– Оно тепло-то, тепло, да метет. Теперь взад, так оно полегче кажет, а метет дюже. Ехать бы можно, кабы кульер али что, по своей воле; а то ведь шутка ли – седока заморозишь. Как потом за вашу милость отвечать?

II

В это время сзади нас слышались колокольчики нескольких троек, которые шибко догоняли нас.

– Колокол кульерский, – сказал мой ямщик, – один такой на всей станции есть.

И действительно, колокольчик передовой тройки, звук которого уже ясно доносился по ветру, был чрезвычайно хорош: чистый, звучный, басистый и дребезжащий немного. Как я потом узнал, это было охотничье заведение: три колокольчика – один большой в середине, с малиновым звоном, как называется, и два маленькие, подобранные в терцию. Звук этой терции и дребезжащей квиты, отзывавшейся в воздухе, был необыкновенно поразителен и странно хорош в этой пустынной, глухой степи.

– Пошта бежит, – сказал мой ямщик, когда передняя из трех троек поравнялась с нами. – А что дорога? проехать можно? – крикнул он заднему из ямщиков; но тот только крикнул на лошадей и не отвечал ему.

Звук колокольчиков быстро замер по ветру, как только почта миновала нас.

Должно быть, моему ямщику стало стыдно.

– А то поедемте, барин! – сказал он мне, – люди проехали – теперь же их следок свежий.

Я согласился, и мы снова повернули против ветра и потащились вперед по глубокому снегу. Я смотрел сбоку на дорогу, чтобы не сбиться со следа, проложенного санями. Версты две след был виден ясно; потом заметна стала только маленькая неровность под полозьями, а скоро уже я решительно не мог узнать, след ли это или просто наметенный слой снега. Глаза притупели смотреть на однообразное убегание снега под полозьями, и я стал глядеть прямо. Третий верстовой столб мы еще видели, но четвертого никак не могли найти; как и прежде, ездили и против ветра, и по ветру, и вправо, и влево, и наконец дошли до того, что ямщик говорил, будто мы сбились вправо, я говорил, что влево, а Алешка доказывал, что мы вовсе едем назад. Снова мы несколько раз останавливались, ямщик выпрастывал свои большие ноги и лазил искать дорогу; но все тщетно. Я тоже пошел было раз посмотреть, не дорога ли то, что мне мерещилось; но едва я с трудом сделал шагов шесть против ветра и убедился, что везде были одинаковые, однообразные белые слои снега и дорога мне виднелась только в воображении, – как уже я не видал саней. Я закричал: «Ямщик! Алешка!» – но голос мой – я чувствовал, как ветер подхватывал прямо изо рта и уносил в одно мгновение куда-то прочь от меня. Я пошел туда, где были сани, – саней не было, пошел направо – тоже нет. Мне совестно вспомнить, каким громким, пронзительным, даже немного отчаянным голосом я закричал еще раз: «Ямщик!» – тогда как он был в двух шагах от меня. Его черная фигура с кнутиком и с огромной, свихнувшейся набок шапкой вдруг выросла передо мной. Он провел меня к саням.

– Еще спасибо – тепло, – сказал он, – а морозом хватит – беда!.. Господи-батюшка!

– Пускай лошадей, пусть везут назад, – сказал я, усевшись в сани. – Привезут? а, ямщик?

– Должны привезть.

Он бросил вожжи, ударил раза три кнутиком по седелке коренную, и мы опять поехали куда-то. Мы ехали с полчаса. Вдруг впереди нас слышались опять знакомый мне охотничий колокольчик и еще два; но теперь они подвигались нам навстречу. Это были те же три тройки, уже сложившие почту и с обратными лошадьми, привязанными сзади, возвращавшиеся на станцию. Курьерская тройка крупных лошадей с охотничьим колокольчиком шибко бежала впереди. В ней сидел один ямщик на облучке и бойко покрикивал. Сзади, в середине пустых саней, сидело по двое ямщиков, слышался их громкий и веселый говор. Один из них курил трубку, и искра, вспыхнув на ветру, осветила часть его лица.

Глядя на них, мне стало стыдно, что я боялся ехать, и ямщик мой, должно быть, испытал то же чувство, потому что мы в один голос сказали: «Поедем за ними».

III

Не пропустив еще последней тройки, мой ямщик стал неловко поворачивать и наехал оглоблями на привязанных лошадей. Одна тройка из них шарахнулась, оторвала повод и поскакала в сторону.

– Вишь, черт косоглазый, не видит, куда воротит, – на людей. Черт! – принялся ругаться хриплым, дребезжащим голосом один невысокий ямщик; старичок, сколько я мог заключить по голосу и сложению, сидевший в задней тройке, живо выскочил из саней и побежал за лошадьми, продолжая грубо и жестоко бранить моего ямщика.

Но лошади не давались. Ямщик побежал за ними, и в одну минуту и лошади и ямщик скрылись в белой мгле метели.

– Василии-ий! давай сюда буланого, так не поймашь, – послышался еще его голос.

Один из ямщиков, весьма высокий мужчина, вылез из саней, молча отвязал свою тройку, взлез по шлее на одну из лошадей и, хрустя по снегу, спутанным галопцем скрылся по тому же направлению.

Мы же с двумя другими тройками, вслед за курьерской, которая, звеня колокольчиком, полной рысью бежала впереди, без дороги пустились дальше.

– Как же! поймает! – сказал мой ямщик на того, который побежал ловить лошадей. – Уж коли к лошадям не пошла, значит – оголтелая лошадь, туда заведет, что и... не выйдет.

С тех пор как ямщик мой ехал сзади, он сделался как будто веселее и разговорчивее, чем я, так как мне еще спать не хотелось, разумеется, не преминул воспользоваться. Я стал его расспрашивать, откуда и как и что он, и скоро узнал, что он земляк мне, тульский, господский, из села Кирпичного, что у них земель мало стало и совсем хлеб рожать перестали земли с самой холеры, что их в семье два брата, третий в солдаты пошел, что хлеба до рождества недостает и живут заработками, что меньшей брат хозяин в дому, потому что женатый, а сам он вдовец; что из их сел каждый год сюда артели ямщиков ходят, что он хоть не ездил ямщиком, а пошел на почту, чтоб поддержка брату была, что живет здесь, слава богу, по сто двадцать рублей ассигнациями в год, из которых сто в семью посылает, и что жить бы хорошо, да «кульеры очень звери, да и народ здесь все ругатель».

– Ну, чего ругался ямщик-то этот? Господи-ба-тюшка! разве я нарочно ему лошадей оборвал? разве я кому злодей? И чего поскакал за ними! сами бы пришли; а то только лошадей заморит, да и сам пропадет, – повторял богобоязненный мужичок.

– А это что чернеется? – спросил я, замечая несколько черных предметов впереди нас.

– А обоз. То-то любезная езда! – продолжал он, когда мы поравнялись с огромными, покрытыми рогожами возами, шедшими друг за другом на колесах. – Гляди, ни одного человека не видать – все спят. Сама умная лошадь знает: не собьешь ее с дороги никак. Мы тоже езжали с рядою, – прибавил он, – так знаем.

Действительно, странно было смотреть на эти огромные возы, засыпанные от рогожного верха до колес снегом, двигавшиеся совершенно одни. Только в переднем возу поднялась немного на два пальца покрытая снегом рогожа, и на минуту высунулась оттуда шапка, когда наши колокольчики прозвенели около обоза. Большая пегая лошадь, вытянув шею и напрягши спину, мерно ступала по совершенно занесенной дороге, однообразно качала под побелевшей дугой своей косматой головой и насторожила одно занесенное снегом ухо, когда мы поравнялись с ней.

Проехав еще с полчаса молча, ямщик снова обратился ко мне.

– А что, как вы думаете, барин, мы хорошо едем?

– Не знаю, – отвечал я.

– Прежде ветер во как был, а теперь мы вовсе под погодой едем. Нет, мы не туда едем, мы тоже плутаем, – заключил он совершенно спокойно.

Видно было, что несмотря на то, что он был очень трусоват, – на миру и смерть красна, – он совершенно стал спокоен с тех пор, как нас было много и не он должен был быть руководителем и ответчиком. Он прехладнокровно делал наблюдения над ошибками передового ямщика, как будто ему до этого ни малейшего дела не было. Действительно, я замечал, что иногда передовая тройка становилась мне в профиль слева, иногда справа; мне даже казалось, что мы кружимся на очень малом пространстве. Впрочем, это мог быть обман чувств, как и то, что мне казалось иногда, что передовая тройка въезжает на гору или едет по косогору или под гору, тогда как степь была везде ровная.

Проехав еще несколько времени, я увидел, как мне показалось, далеко, на самом горизонте, черную длинную двигавшуюся полосу; но через минуту мне уже ясно стало, что это был тот же самый обоз, который мы обгоняли. Точно так же снег засыпал скрипучие колеса, из которых некоторые не вертелись даже; точно так же люди все спали под рогожами; и так же передовая пегая лошадь, раздувая ноздри, обнюхивала дорогу и настораживала уши.

– Вишь, кружили, кружили, опять к тому же обозу выехали! – сказал мой ямщик недовольным тоном. – Кульерские лошади добрые: то-то он так и гонит дуром; а наши так и вовсе станут, коли так всю ночь проездим.

Он прокашлялся.

– Вернемся-ка, барин, от греха.

– Зачем? куда-нибудь да приедем.

– Куда приехать? уж будем в степи ночевать. Как метет... Господи-батюшка!

Хотя меня удивляло то, что передовой ямщик, очевидно уже потеряв и дорогу и направление, не отыскивал дороги, а, весело покрикивая, продолжал ехать полной рысью, я уже не хотел отставать от них.

– Пошел за ними, – сказал я.

Ямщик поехал, но еще неохотнее погонял, чем прежде, и уже больше не заговаривал со мной.

IV

Метель становилась сильнее и сильнее, и сверху снег шел сухой и мелкий; казалось, начинало подмораживать: нос и щеки сильнее зябли, чаще пробегала под шубу струйка холодного воздуха, и надо было запахиваться. Изредка сани постукивали по голому обледенелому черепку, с которого снег сметало. Так как я, не ночуя, ехал уже шестую сотню верст, несмотря на то, что меня очень интересовал исход нашего плутания, я невольно закрывал глаза и задремывал. Раз, когда я открыл глаза, меня поразил, как мне показалось в первую минуту, яркий свет, освещавший белую равнину: горизонт значительно расширился, черное низкое небо вдруг исчезло, со всех сторон видны были белые косые линии падающего снега; фигуры передовых троек виднелись яснее, и когда я посмотрел вверх, мне показалось в первую минуту, что тучи разошлись и что только падающий снег застилает небо. В то время как я вздремнул, взошла луна и бросала сквозь неплотные тучи и падающий снег свой холодный и яркий свет. Одно, что я видел ясно, – это были мои сани, лошади, ямщик и три тройки, ехавшие впереди: первая – курьерская, в которой все так же на облучке сидел один ямщик и гнал крупную рысью; вторая, в которой, бросив вожжи и сделав себе из армяка затишку, сидели двое и не переставая курили трубочку, что видно было по искрам, блестящим оттуда; и третья, в которой никого не видно было и, предположительно, ямщик спал в середине. Передовой ямщик, однако, когда я проснулся, изредка стал останавливать лошадей и искать дороги. Тогда, только что мы останавливались, слышнее становилось завывание ветра и виднее поразительно огромное количество снега, носящегося в воздухе. Мне видно было, как при лунном, застилаемом метелью свете невысокая фигура ямщика с кнутовищем в руке, которым он ошупывал снег впереди себя, двигалась назад и вперед в светлой мгле, снова подходила к саням, вскакивала бочком на передок, и слышались снова среди однообразного свистения ветра ловкое, звучное покрякивание и звучание колокольчиков. Когда передовой ямщик вылезал, чтобы искать признаков дороги или стогов, из вторых саней всякий раз слышался бойкий, самоуверенный голос одного из ямщиков, который кричал передовому:

– Слышь, Игнашка! влево совсем забрали: правее забирай, под погоду-то. – Или: – Что кружишь дуром? по снегу ступай, как снег лежит, – как раз выедешь. – Или: – Вправо-то, вправо-то пройди, братец ты мой! вишь, чернеет что-то, столб, никак. – Или: – Что пугаешь-то? что пугаешь? Отпряжка пегого да пусти передом, так он как раз тебя выведет на дорогу. Дело-то лучше будет!

Сам же тот, который советовал, не только не отпрягал пристяжной или не ходил по снегу искать дороги, но носу не высовывал из-за своего армяка, и когда Игнашка-передовой на один из советов его крикнул, чтобы он сам ехал передом, когда знает, куда ехать, то советчик отвечал, что когда бы он на курьерских ездил, то и поехал бы и вывел бы как раз на дорогу.

– А наши лошади в заметь передом не пойдут, – крикнул он, – не такие лошади!

– Так не мути! – отвечал Игнашка, весело посвистывая на лошадей.

Другой ямщик, сидевший в одних санях с советчиком, ничего не говорил Игнашке и вообще не вмешивался в это дело, хотя не спал еще, о чем я заключил по неугасаемой его трубочке и по тому, что, когда мы останавливались, я слышал его мерный, непрерываемый говор. Он рассказывал сказку. Раз только, когда Игнашка в шестой или седьмой раз остановился, ему, видимо, досадно стало, что прерывается его удовольствие езды, и он закричал ему:

– Ну что стал опять? Вишь, найти дорогу хочет! Сказано, метель! Теперь землемер самый и тот дороги не найдет. Ехал бы, поколе лошади везут. Авось до смерти не замерзнем... пошел, знай!

– Как же! небось поштальон в прошлом году до смерти замерз! – отозвался мой ямщик.

Ямщик третьей тройки не просыпался все время. Только раз, во время остановки, советчик крикнул:

– Филипп! а Филипп! – И, не получив ответа, заметил: – Уж не замерз ли? Ты бы, Игнашка, посмотрел.

Игнашка, который поспевал на все, подошел к саням и начал толкать спящего.

– Вишь, с косушки как его разобрало! Замерз, так скажи! – говорил он, раскачивая его. Спящий промычал что-то и ругнулся.

– Жив, братцы! – сказал Игнашка и снова побежал вперед; и мы снова ехали, и даже так скоро, что маленькая гнedenькая пристяжная в моей тройке, беспрестанно постегиваемая в хвост, не раз попрыгивала неловким галопцем.

V

Уже, я думаю, около полуночи к нам подъехали старичок и Василий, догонявшие оторвавшихся лошадей. Они поймали лошадей и нашли и догнали нас; но каким образом сделали это в темную, слепую метель, среди голой степи, мне навсегда останется непонятным. Старичок, размахивая локтями и

ногами, рысью ехал на коренной (другие две лошади были привязаны к хомуту: в метель нельзя бросать лошадей). Поравнявшись со мной, он снова принялся ругать моего ямщика:

– Вишь, черт косоглазый! право...

– Э, дядя Митрич, – крикнул сказочник из вторых саней, – жив? полезай к нам.

Но старик не отвечал ему, а продолжал браниться. Когда ему показалось достаточным, он подъехал ко вторым саням.

– Всех поймал? – сказали ему оттуда.

– А то нет!

И небольшая фигура его на рыси грудью взвалилась на спину лошади, потом соскочила на снег, не останавливаясь, пробежала за санями и ввалилась в них, с выпущенными сверху через грядку ногами. Высокий Василий, так же как и прежде, молча сел в передние сани с Игнашкой и с ним вместе стал искать дорогу.

– Вишь ругатель... Господи-батюшка! – пробормотал мой ямщик.

Долго после этого мы ехали, не останавливаясь, по белой пустыне, в холодном, прозрачном и колеблющемся свете метели. Откроешь глаза – та же неуклюжая шапка и спина, занесенные снегом, торчат передо мной, та же невысокая дуга, под которой между натянутыми ремнями поводками узды поматывается, всё в одном расстоянии, голова коренной с черной гривой, мерно подбиваемой в одну сторону ветром; виднеется из-за спины та же гнеденская пристяжная направо, с коротко подвязанным хвостом и вальком, изредка постукивающим о лубок саней. Посмотришь вниз – тот же сыпучий снег разрывают полозья, и ветер упорно поднимает и уносит все в одну сторону. Впереди, на одном же расстоянии, убегают передовые тройки; справа, слева все белеет и мерещится. Напрасно глаз ищет нового предмета: ни столба, ни стога, ни забора – ничего не видно. Везде все бело, бело и подвижно: то горизонт кажется необъятно-далеким, то сжатым на два шага во все стороны, то вдруг белая высокая стена вырастает справа и бежит вдоль саней, то вдруг исчезает и вырастает спереди, чтобы убежать дальше и опять исчезнуть. Посмотришь ли наверх – покажется светло в первую минуту, – кажется, сквозь туман видишь звездочки; но звездочки убегают от взора выше и выше, и только видишь снег, который мимо глаз падает на лицо и воротник шубы; небо везде одинаково светло, одинаково бело, бесцветно, однообразно и постоянно подвижно. Ветер как будто изменяется: то дует навстречу и лепит глаза снегом, то сбоку досадно закидывает воротник шубы на голову и насмешливо треплет меня им по лицу, то сзади гудит в какую-нибудь скважину. Слышно слабое неумолкаемое хрустение копыт и полозьев по снегу и замирающее, когда мы едем по глубокому снегу, звяканье колокольчиков. Только изредка, когда мы едем против ветра и по голому намерзшему черепку, ясно долетают до слуха энергическое посвистыванье Игната и залиvistый звон его колокольчика с отзывающейся дребезжащей квинтой, и звуки эти вдруг отраднo нарушают унылый характер пустыни и потом снова звучат однообразно, с несносной верностью наигрывая все тот же самый мотив, который невольно я воображаю себе. Одна нога начала у меня зябнуть, и, когда я поворачивался, чтобы лучше закрыться, снег, насыпавшийся на воротник и шапку, проскакивал за шею и заставлял меня вздрагивать; но мне было вообще еще тепло в обогретой шубе, и дремота клонила меня.

VI

Воспоминания и представления с усиленной быстротой сменялись в воображении.

«Советчик, что все кричит из вторых саней, какой это мужик должен быть? Верно, рыжий, плотный, с короткими ногами, – думаю я, – вроде Федора Филиппыча, нашего старого буфетчика». И вот я вижу лестницу нашего большого дома и пять человек дворовых, которые на полотенцах, тяжело ступая, тащат фортепьяно из флигеля; вижу Федора Филиппыча с завороченными рукавами нанкового сюртука, который несет одну педаль, забегает вперед, отворяет задвижки, подергивает там за ручник, поталкивает тут, пролезает между ног, всем мешая и озабоченным голосом кричит не переставая:

– На себя возьми, передовые-то, передовые! Вот так, хвостом-то в гору, в гору, в гору, заноси в дверь! Вот так.

– Уж вы позвольте, Федор Филиппыч! мы одни, – робко замечает садовник, прижатый к перилам, весь красный от напряжения, из последних сил поддерживая один угол роля.

Но Федор Филиппыч не унимается.

«И что это? – рассуждал я, – думает он, что он полезен, необходим для общего дела, или просто рад, что бог дал ему это самоуверенное, убедительное красноречие, и с наслаждением расточает его? Должно быть, так». И я вижу почему-то пруд, усталых дворовых, которые по колено в воде тянут невод, и опять Федор Филиппыч с лейкой, крича на всех, бежит по берегу и только изредка подходит к воде, чтобы, придерживая рукой золотистых карасей, спустить мутную воду и набрать свежей. Но вот полдень в июле месяце. Я по только что скошенной траве сада, под жгучими прямыми лучами солнца, иду куда-то. Я еще очень молод, мне чего-то недостает и чего-то хочется. Я иду к пруду, на свое любимое место,

между шиповниковой клумбой и березовой аллеей, и ложусь спать. Помню чувство, с которым я, лежа, гляжу сквозь красные колючие стволы шиповника на черную, засохшую крупинками землю и на просвечивающее ярко-голубое зеркало пруда. Это было чувство какого-то наивного самодовольствия и грусти. Все вокруг меня было так прекрасно, и так сильно действовала на меня эта красота, что мне казалось, я сам хорош, и одно, что мне досадно было, это то, что никто не удивляется мне. Жарко. Я пытаюсь заснуть, чтоб утешиться; но мухи, несносные мухи, не дают мне и здесь покоя, начинают собираться около меня и упорно, туго как-то, как косточки, перепрыгивают со лба на руки. Пчела жужжит недалеко от меня, на самом припеке; желтокрылые бабочки, как раскислые, перелетают с травки на травку. Я гляжу вверх; глазам больно – солнце слишком блестит через светлую листву кудрявой березы, высоко, но тихонько раскачивающейся надо мной своими ветвями, – и кажется еще жарче. Я закрываю лицо платком; становится душно, и мухи как будто липнут к рукам, на которых выступает испарина. В шиповнике завозились воробьи в самой чаще. Один из них спрыгнул на землю в аршине от меня, притворился раза два, что энергически клюнул землю, и, хрустя ветками и весело чирикнув, вылетел из клумбы; другой тоже соскочил на землю, подернул хвостик, оглянулся и так же, как стрела, чирикавая, вылетел за первым. На пруде слышны удары валька по мокрому белью, и удары эти раздаются и разносятся как-то низом, вдоль по пруду. Слышны смех и говор и плесканье купающихся. Порыв ветра зашумел верхушками берез еще далеко от меня; вот ближе, слышу, он зашевелил траву, вот и листья шиповниковой клумбы заколебались, забились на своих ветках; а вот, поднимая угол платка и щекотая потное лицо, до меня добежала свежая струя. В отверстие поднятого платка влетела муха и испуганно забилась около влажного рта. Какая-то сухая ветка жмет мне под спиной. Нет, не улежать: пойти выкупаться. Но вот около самой клумбы слышу торопливые шаги и испуганный женский говор:

– Ах, батюшки! Да что ж это! и мужчин никого нету!

– Что это, что? – спрашиваю я, выбегая на солнце, у дворовой женщины, которая, охая, бежит мимо меня. Она только оглядывается, взмахивает руками и бежит дальше. Но вот и стопятидесятая старуха Матрена, придерживая рукою платок, сбивающийся с головы, подпрыгивая и волоча одну ногу в шерстяном чулке, бежит к пруду. Две девочки бегут, держась друг за друга, и десятилетний мальчишка, в отцовском сюртуке, держась за посконную юбку одной из них, поспешает сзади,

– Что случилось? – спрашиваю я у них.

– Мужик утонул.

– Где?

– В пруде.

– Какой? наш?

– Нет, прохожий.

Кучер Иван, ёрзая большими сапогами по скошенной траве, и толстый приказчик Яков, с трудом переводя дух, бегут к пруду, и я бегу за ними.

Помню чувство, которое мне говорило: «Вот бросься и вытащи мужика, спаси его, и все будут удивляться тебе», – чего мне именно и хочется.

– Где же, где? – спрашиваю я у толпы дворовых, собравшейся на берегу.

– Вон там, в самой пучине, к тому берегу, у бани почти, – говорит прачка, убирая мокрое белье на коромысло. – Я гляжу, что он ныряет; а он покажется так-то, да и уйдет опять, покажется еще, да как крикнет: «Тону, батюшки!» – и опять ушел на низ, только пузырьки пошли. Тут я увидела, мужик тонет. Как взвою: «Батюшки, мужик тонет!»

И прачка, взвалив на плечо коромысло, виляя боком, пошла по тропинке прочь от пруда.

– Вишь, грех какой! – говорит Яков Иванов, приказчик, отчаянным голосом, – что теперь хлопот с земским судом будет – не оберешься.

Какой-то один мужик с косою пробрался сквозь толпу баб, детей и стариков, столпившихся у того берега, и, повесив косу на сук ракиты, медленно разувается.

– Где же, где он утонул? – все спрашиваю я, желая броситься туда и сделать что-нибудь необыкновенное.

Но мне указывают на гладкую поверхность пруда, которую изредка рябит проносящийся ветер. Мне непонятно, как же он утонул, а вода все так же гладко, красиво, равнодушно стоит над ним, блестя золотом на полуденном солнце; и мне кажется, что я ничего не могу сделать, никого не удивлю, тем более что весьма плохо плаваю; а мужик уже через голову стаскивает с себя рубашку и сейчас бросится. Все смотрят на него с надеждой и замиранием; но, войдя в воду по плечи, мужик медленно возвращается и надевает рубашку: он не умеет плавать.

Народ все сбегается, толпа становится больше и больше, бабы держатся друг за друга; но никто не подает помощи. Те, которые только что приходят, подают советы, ахают и на лицах выражают испуг и отчаянье; из тех же, которые собрались прежде, некоторые садятся, устав стоять, на траву, некоторые возвращаются. Старуха Матрена спрашивает у дочери, затворила ли она заслонку печи; мальчишка в

отцовском сюртуке старательно бросает камешки в воду.

Но вот от дому, с лаем и в недоумении оглядываясь назад, бежит под гору Трезорка, собака Федора Филиппыча; но вот и самая фигура его, бегущего с горы и кричащего что-то, показывается из-за шиповниковой клумбы.

– Что стоите? – кричит он, на бегу снимая сюртук. – Человек потонул, а они стоят! Давай веревку!

Все с надеждой и страхом смотрят на Федора Филиппыча, пока он, придерживаясь рукой за плечо услужливого дворового, снимает носком левой ноги каблук правой.

– Вон там, где народ стоит, так вот поправее ракиты, Федор Филиппыч, вон там-то, – говорит ему кто-то.

– Знаю! – отвечает он и, нахмутив брови, должно быть, в ответ на признаки стыдливости, выражающейся в толпе женщин, снимает рубашку, крестик, передавая его мальчишке-садовнику, который подобострастно стоит перед ним, и, энергически ступая по скошенной траве, подходит к пруду.

Трезорка, в недоумении насчет причин этой быстроты движений своего господина, остановившись около толпы и чмокая, съев несколько травинок около берега, вопросительно смотрит на него и, вдруг весело взвизгнув, вместе с своим хозяином бросается в воду. Первую минуту ничего не видно, кроме пены и брызгов, которые летят даже до нас; но вот Федор Филиппыч, грациозно размахивая руками и равномерно подымая и опуская белую спину, саженьями, бойко плывет к тому берегу. Трезорка же, захлебнувшись, торопливо возвращается назад, отряхивается около толпы и на спине вытирается по берегу. В одно и то же время, как Федор Филиппыч подплывает к тому берегу, два кучера прибегают к раките с свернутым на палке неводом. Федор Филиппыч для чего-то поднимает кверху руки, ныряет раз, другой, третий, всякий раз пуская изо рта струйку воды и красиво встряхивая волосами и не отвечая на вопросы, которые со всех сторон сыплются на него. Наконец он выходит на берег и, сколько мне видно, распоряжается только расправлением невода. Невод вытаскивают, но в корме ничего нет, кроме тины и нескольких мелких карасиков, бьющихся между нею. В то время как невод еще раз затаскивают, я перехожу на ту сторону.

Слышно только голос Федора Филиппыча, отдающего приказания, поплескивание по воде мокрой веревки и вздохи ужаса. Мокрая веревка, привязанная к правому крылу, больше и больше покрытая травой, дальше и дальше выходит из воды.

– Теперь вместе тяни, дружной, разом! – кричит голос Федора Филиппыча. Показываются камола, облитые водой.

– Есть что-то, тяжело идет, братцы, – говорит чей-то голос.

Но вот и крылья, в которых бьются два-три карасика, моча и прижимая траву, вытягиваются на берег. И вот сквозь тонкий, колеблющийся слой возмущившейся воды в натянутой сети показывается что-то белое. Негромкий, но поразительно слышный среди мертвой тишины вздох ужаса проносится в толпе.

– Тащи дружной, на сухое тащи! – слышится решительный голос Федора Филиппыча, и утопленника по скошенным стеблям лопуха и репейника волоком подтаскивают к раките.

И вот я вижу мою добрую старую тетюшку в шелковом платье, вижу ее лиловый зонтик с бахромой, который почему-то так несообразен с этой ужасной по своей простоте картиной смерти, лицо, готовое сию минуту расплакаться. Помню выразившееся на этом лице разочарование, что нельзя тут ни к чему употребить арнику, и помню большое, скорбное чувство, которое я испытал, когда она мне с наивным эгоизмом любви сказала: «Пойдем, мой друг. Ах, как это ужасно! А вот ты все один купаешься и плаваешь».

Помню, как ярко и жарко пекло солнце сухую, рассыпчатую под ногами землю, как играло оно на зеркале пруда, как бились у берегов крупные карпии, в середине зыбили гладь пруда стайки рыбок, как высоко в небе вился ястреб, стоя над утятами, которые, бурля и плескаясь, через тростник выплывали на середину; как грозовые белые кудрявые тучи сбились на горизонте, как грязь, вытасченная неводом у берега, понемногу расходилась и как, проходя по плотине, я снова услышал удары валька, разносящиеся по пруду.

Но валец этот звучит, как будто два валька звучат вместе в терцию, и звук этот мучит, томит меня, тем более что я знаю – этот валец есть колокол, и Федор Филиппыч не заставит замолчать его. И валец этот, как инструмент пытки, сжимает мою ногу, которая зябнет, – я засыпаю.

Меня разбудило, как мне показалось, то, что мы очень быстро скачем, и два голоса говорят подле самого меня.

– Слышь, Игнат, а Игнат! – говорит голос моего ямщика, – возьми седока – тебе все одно ехать, а мне что даром гонять! возьми!

Голос Игната подле самого меня отвечает:

– А что мне радости-то за седока отвечать?.. Поставишь полштофа?

– Ну, полштофа!.. косушку – уж так и быть.

– Вишь, косушку! – кричит другой голос, – лошадей помучить за косушку!

Я открываю глаза. Все тот же несносный колеблющийся снег мерещится в глазах, те же ямщики и лошади, но подле себя я вижу какие-то сани. Мой ямщик догнал Игната, и мы довольно долго едем рядом. Несмотря на то, что голос из других саней советует не брать меньше полуштофа, Игнат вдруг останавливает тройку.

– Перекладывай, уж так и быть, твое счастье. Косушку поставь, как завтра приедем. Клади много, что ли?

Мой ямщик с несвойственной ему живостью выскакивает на снег, кланяется мне и просит, чтобы я пересел к Игнату. Я совершенно согласен; но видно, что богобоязненный мужичок так доволен, что ему хочется излить на кого-нибудь свою благодарность и радость: он кланяется, благодарит меня, Алешу, Игнашку.

– Ну вот и слава богу! а то что это, господи-батюш-ка! половину ночи ездим, сами не знаем куда. Он-то вас довезет, батюшка-барин, а мои уж лошади вовсе стали.

И он выкладывает вещи с усиленной деятельностью.

Пока перекладывались, я по ветру, который так и подносил меня, подошел ко вторым саням. Сани, особенно с той стороны, с которой от ветра завешен был на головах двух ямщиков армяк, были на четверть занесены снегом; за армяком же было тихо и уютно. Старичок лежал так же, с выпущенными ногами, а сказочник продолжал свою сказку:

– В то самое время, как генерал от королевского, значит, имени приходит, значит, к Марии в темницу, в то самое время Мария говорит ему: «Генерал! я в тебе не нуждаюсь и не могу тебя любить, и, значит, ты мне не любовник; а любовник мой есть тот самый принц...» В то самое время... – продолжал было он, но, увидав меня, замолк на минуту и стал раздувать трубочку.

– Что, барин, сказочку пришли послушать? – сказал другой, которого я называл советчиком.

– Да у вас славно, весело! – сказал я.

– Что ж! от скуки, – по крайности не думается.

– А что, не знаете вы, где мы теперь? Вопрос этот, как мне показалось, не понравился ямщикам.

– А кто е разберет, где? может, и к калмыкам заехали вовсе, – отвечал советчик.

– Что же мы будем делать? – спросил я.

– А что делать? Вот едем, можь, и выедем, – сказал он недовольным тоном.

– Ну, а как не выедем да лошади станут в снегу, что тогда?

– А что! Ничего.

– Да замерзнуть можно.

– Известно можно, потому и стогов теперича не видать: значит, мы вовсе к калмыкам заехали.

Первое дело надо по снегу смотреть.

– А ты, никак, боишься замерзнуть, барин? – сказал старичок дрожащим голосом.

Несмотря на то, что он как будто подтрунивал надо мной, видно было, что он продрог до последней косточки.

– Да, холодно очень становится, – сказал я.

– Эх ты, барин! А ты бы, как я: нет-нет да и пробегись, – оно тебя и согреет.

– Первое дело, как пробежишь за санями, – сказал советчик.

VII

– Пожалуйте: готово! – кричал мне Алешка из передних саней.

Метель была так сильна, что насилу-насилу, перегнувшись совсем вперед и ухватясь обеими руками за полы шипели, я мог по колеблющемуся снегу, который выносило ветром из-под ног, пройти те несколько шагов, которые отделяли меня от моих саней. Прежний ямщик мой уже стоял на коленках в середине пустых саней, но, увидав меня, снял свою большую шапку, причем ветер неистово подхватил его волосы кверху, и попросил на водку. Он, верно, и не ожидал, чтобы я дал ему, потому что отказ мой нисколько не огорчил его. Он поблагодарил меня и на этом, надвинул шапку и сказал мне: «Ну, дай бог вам, барин...» – и, задергав вожжами и зачмокав, тронулся от нас. Вслед за тем и Игнашка размахнулся всей спиной и крикнул на лошадей. Опять звуки хрустенья копыт, покрякиванья и колокольчика заменили звук завывания ветра, который был особенно слышен, когда стояли на месте.

С четверть часа после перекладки я не спал и развлекался рассматриванием фигуры нового ямщика и лошадей. Игнашка сидел молодцом, беспрестанно подпрыгивал, замахивался рукою с висящим кнутом на лошадей, покрякивал, постукивал ногой об ногу и, перегибаясь вперед, поправлял шлею коренной, которая все сбивалась на правую сторону. Он был невелик ростом, но хорошо сложен, как казалось. Сверх полушубка на нем был надет неподпоясанный армяк, которого воротник был почти откинут, и шея совсем голая; сапоги были не валяные, а кожаные, и шапка маленькая, которую он снимал и поправлял беспрестанно. Уши закрыты были только волосами. Во всех его движениях заметна

была не только энергия, но еще более, как мне казалось, желание возбудить в себе энергию. Однако, чем дальше мы ехали, тем чаще и чаще он, оправляясь, подпрыгивал на облучке, похлопывал ногой об ногу и заговаривал со мной и Алешкой: мне казалось, он боялся упасть духом. И было от чего: хотя лошади были добрые, дорога с каждым шагом становилась тяжелее и тяжелее, и заметно было, как лошади бежали неохотнее: уже надобно было постегивать, и коренная, добрая большая косматая лошадь, спотыкнулась раза два, хотя тотчас же, испугавшись, дернула вперед и подкинула косматую голову чуть не под самый колокольчик. Правая пристяжная, которую я невольно наблюдал, вместе с длинной ременной кисточкой шлеи, бившейся и подпрыгивающей с полевой стороны, заметно спускала постромки, требовала кнутика, но, по привычке доброй, даже горячей лошади, как будто досадовала на свою слабость, сердито опускала и подымала голову, попрашивая повода. Действительно, страшно было видеть, что метель и мороз все усиливаются, лошади слабеют, дорога становится хуже, и мы решительно не знаем, где мы и куда ехать, не только на станцию, но к какому-нибудь приюту, – и смешно и странно слышать, что колокольчик звенит так непринужденно и весело и Игнатка покрикивает так бойко и красиво, как будто в крещенский морозный солнечный полдень мы катаемся в праздник по деревенской улице, – и главное, странно было думать, что мы всё едем, и шибко едем, куда-то прочь от того места, на котором находились. Игнатка запел какую-то песню, хотя весьма гаденькой фистулой, но так громко и с такими остановками, во время которых он посвистывал, что странно было робеть, слушая его.

– Ге-гей! что горло-то дерешь, Игнат! – послышался голос советчика, – постой на час!

– Чаво?

– Посто-о-о-ой!

Игнат остановился. Опять все замолкло, и загудел и запищал ветер, и снег стал, крутясь, гуще валить в сани. Советчик подошел к нам.

– Ну что?

– Да что! куда ехать-то?

– А кто е знает!

– Что, ноги замерзли, что ль, что хлопаешь-то?

– Вовсе зашлись.

– А ты бы вот сходил: во-он маячит – никак, калмыцкое кочевье. Оно бы и ноги-то посогрел.

– Ладно. Подержи лошадей... на.

И Игнат побежал по указанному направлению.

– Все надо смотреть да походить: оно и найдешь; а то так, что дуром-то ехать! – говорил мне советчик, – вишь, как лошадей упарил!

Все время, пока Игнат ходил, – а это продолжалось так долго, что я даже боялся, как бы он не заблудился, – советчик говорил мне самоуверенным, спокойным тоном, как надо поступать во время метели, как лучше всего отпрячь лошадь и пустить, что она, как бог свят, выведет, или как иногда можно и по звездам смотреть, и как, ежели бы он передом ехал, уж мы бы давно были на станции.

– Ну что, есть? – спросил он у Игната, который возвращался, с трудом шагая, почти по колено в снегу.

– Есть-то есть, кочевье видать, – отвечал, задыхаясь, Игнат, – да незнамо какое. Это мы, брат, должно, вовсе на Пролговскую дачу заехали. Надо левой брать.

– И что мелет! это вовсе наши кочевья, которые позадь станицы, – возразил советчик.

– Да говорю, что нет!

– Уж я глянул, так знаю: оно и будет; а не оно, так Тамышевско. Все надо правой забирать: как раз и выедем на большой мост – осьмью версту.

– Да говорят, что нет! Ведь я видал! – с досадой отвечал Игнат.

– Э, брат! а еще ямщик!

– То-то ямщик! ты сходи сам.

– Что мне ходить! я так знаю.

Игнат рассердился, видно: он, не отвечая, вскочил на облучок и погнал дальше.

– Вишь, как зашлись ноги: ажио не согреешь, – сказал он Алешке, продолжая похлопывать чаще и чаще и огреть и высыпать снег, который ему забился за голенище.

Мне ужасно хотелось спать.

VIII

«Неужели это я уже замерзаю, – думал я сквозь сон, – замерзание всегда начинается сном, говорят. Уж лучше утонуть, чем замерзнуть, пускай меня вытащат в неводе; а впрочем, все равно – утонуть ли, замерзнуть, только бы под спину не толкала эта палка какая-то и забыться бы».

Я забываюсь на секунду.

«Чем же, однако, все это кончится? – вдруг мысленно говорю я, на минуту открывая глаза и

вглядываясь в белое пространство. – Чем же это кончится? Ежели мы не найдем стогов и лошади станут, что, кажется, скоро случится, – мы все замерзнем». Признаюсь, хотя я и боялся немного, желание, чтобы с нами случилось что-нибудь необыкновенное, несколько трагическое, было во мне сильней маленькой боязни. Мне казалось, что было бы недурно, если бы к утру в какую-нибудь далекую, неизвестную деревню лошади бы уж сами привезли нас полузамерзлых, чтобы некоторые даже замерзли совершенно. И в этом смысле мечты с необыкновенной ясностью и быстротой носились передо мною. Лошади становятся, снегу наносится больше и больше, и вот от лошадей видны только дуга и уши; но вдруг Игнашка является наверху с своей тройкой и едет мимо нас. Мы умоляем его, кричим, чтобы он взял нас; но ветром относит голос, голосу нет. Игнашка посмеивается, кричит по лошадям, посвистывает и скрывается от нас в каком-то глубоком, занесенном снегом овраге. Старичок вскакивает верхом, размахивает локтями и хочет ускакать, но не может сдвинуться с места; мой старый ямщик, с большой шапкой, бросается на него, стаскивает на землю и топчет в снегу. «Ты колдун, – кричит он, – ты ругатель! Будем плутать вместе». Но старичок пробивает головой сугроб: он не столько старичок, сколько заяц, и скачет прочь от нас. Все собаки скачут за ним. Советчик, который есть Федор Филиппыч, говорит, чтобы все сели кружком, что ничего, ежели нас занесет снегом: нам будет тепло. Действительно, нам тепло и уютно; только хочется пить. Я достаю погребец, потчую всех ромом с сахаром и сам пью с большим удовольствием. Сказочник говорит какую-то сказку про радугу, – и над нами уже потолок из снега и радуга. «Теперь сделаемте себе каждый комнатку в снегу и давайте спать!» – говорю я. Снег мягкий и теплый, как мех. Я делаю себе комнатку и хочу войти в нее; но Федор Филиппыч, который видел в погребце мои деньги, говорит: «Стой! давай деньги. Все одно умирать!» – и хватает меня за ногу. Я отдаю деньги и прошу только, чтобы меня отпустили; но они не верят, что это все мои деньги, и хотят меня убить. Я схватываю руку старичка и с невыразимым наслаждением начинаю целовать ее; рука старичка нежная и сладкая. Он сначала вырывает ее, но потом отдает мне и даже сам другой рукой ласкает меня. Однако Федор Филиппыч приближается и грозит мне. Я бегу в свою комнату; но это не комната, а длинный белый коридор, и кто-то держит меня за ноги. Я вырываюсь. В руках того, кто меня держит, остаются моя одежда и часть кожи; но мне только холодно и стыдно – стыдно тем более, что тетушка с зонтиком и гомеопатической аптечкой, под руку с утопленником, идут мне навстречу. Они смеются и не понимают знаков, которые я им делаю. Я бросаюсь на сани, ноги волокутся по снегу; но старичок гонится за мной, размахивая локтями. Старичок уже близко, но я слышу, впереди звонят два колокола, и знаю, что я спасен, когда прибегу к ним. Колокола звучат слышней и слышней; но старичок догнал меня и животом упал на мое лицо, так что колокола едва слышны. Я снова схватываю его руку и начинаю целовать ее, но старичок не старичок, а утопленник... и кричит: «Игнашка! стой, вон Ахметкины стоги, кажись! Подька посмотри!» Это уж слишком страшно. Нет! проснусь лучше...

Я открываю глаза. Ветер закинул мне на лицо полу Алешкиной шинели, колено у меня раскрыто, мы едем по голому насту, и терция колокольчиков слышнехонько звучит в воздухе с своей дребезжащей квинтой.

Я смотрю, где стоги; но вместо стогов, уже с открытыми глазами, вижу какой-то дом с балконом и зубчатую стену крепости. Меня мало интересует рассмотреть хорошенько этот дом и крепость: мне, главное, хочется опять видеть белый коридор, по которому я бежал, слышать звон церковного колокола и целовать руку старичка. Я снова закрываю глаза и засыпаю.

IX

Я спал крепко; но терция колокольчиков все время была слышна и виделась мне во сне то в виде собаки, которая лает и бросается на меня, то органа на, в котором я составляю одну дудку, то в виде французских стихов, которые я сочиняю. То мне казалось, что эта терция есть какой-то инструмент пытки, которым не переставая сжимают мою правую пятку. Это было так сильно, что я проснулся и открыл глаза, потирая ногу. Она начинала замораживаться. Ночь была та же светлая, мутная, белая. То же движение поталкивало меня и сани; тот же Игнашка сидел боком и похлопывал ногами; та же пристяжная, вытянув шею и невысоко поднимая ноги, рысью бежала по глубокому снегу, кисточка подпрыгивала на шлее и хлесталась о брюхо лошади. Голова коренной с развевающейся гривой, натягивая и отпуская поводья, привязанные к дуге, мерно покачивалась. Но все это, больше чем прежде, покрыто, занесено было снегом. Снег крутился спереди, сбоку, засыпал полозья, ноги лошадей по колени и сверху валил на воротники и шапки. Ветер был то справа, то слева, играл воротником, полой Игнашкина армяка, гривой пристяжной и завывал над дугой и в оглоблях.

Становилось ужасно холодно, и едва я высовывался из воротника, как морозный сухой снег, крутясь, набивался в ресницы, нос, рот и заскакивал за шею; посмотришь кругом – все бело, светло и снежно, нигде ничего, кроме мутного света и снега. Мне стало серьезно страшно. Алешка спал в ногах и в самой глубине саней; вся спина его была покрыта густым слоем снега. Игнашка не унывал: он

беспрестанно подергивал вожжами, покрикивал и хлопал ногами. Колокольчик звенел так же чудно. Лошади похрапывали, но бежали, спотыкаясь чаще и чаще и несколько тише. Игнашка опять подпрыгнул, взмахнул рукавицей и запел песню своим тоненьким напряженным голосом. Не допев песни, он остановил тройку, перекинул вожжи па передок и слез. Ветер завыл неистово; снег, как из совка, так и посыпал на полы шубы. Я оглянулся: третьей тройки уж за нами не было (она где-то отстала). Около вторых саней, в снежном тумане, видно было, как старичок попрыгивал с ноги на ногу. Игнашка шага три отошел от саней, сел на снег, распоясался и стал снимать сапоги.

– Что это ты делаешь? – спросил я.

– Переобуться надо; а то вовсе ноги заморозил, – отвечал он и продолжал свое дело.

Мне холодно было высунуть шею из-за воротника, чтобы посмотреть, как он это делал. Я сидел прямо, глядя на пристяжную, которая, отставив ногу, болезненно, устало помахивала подвязанным и занесенным снегом хвостом. Толчок, который дал Игнат санями, вскочив на облучок, разбудил меня.

– Что, где мы теперь? – спросил я, – доедем ли хоть к свету?

– Будьте покойны: доставим, – отвечал он. – Теперь важно ноги согрелись, как переобулся.

И он тронул, колокол зазвенел, сани снова стали раскачиваться и ветер свистеть под полозьями. И мы снова пустились плыть по беспредельному морю снега.

Х

Я заснул крепко. Когда же Алешка, толкнув меня ногой, разбудил и я открыл глаза, было уже утро. Казалось еще холодней, чем ночью. Сверху снега не было; по сильный, сухой ветер продолжал заносить снежную пыль на поле и особенно под копытами лошадей и полозьями. Небо справа на востоке было тяжелое, темно-синеватого цвета; но яркие красно-оранжевые косые полосы яснее и яснее обозначались на нем. Над головами, из-за бегущих белых, едва окрашивающихся туч, виднелась бледная синева: налево облака были светлы, легки и подвижны. Везде кругом, что мог окинуть глаз, лежал на поле белый, острыми слоями рассыпанный, глубокий снег. Кое-где виднелся сереющий бугорок, через который упорно летела мелкая, сухая снежная пыль. Ни одного, ни санного, ни человеческого, ни звериного следа не было видно. Очертания и цвета спины ямщика и лошадей виднелись ясно и резко даже на белом фоне... Околыш Игнашкиной темно-синей шапки, его воротник, волосы и даже сапоги были белы. Сани были занесены совершенно. У сивой коренной вся правая часть головы и холки были набиты снегом; у моей пристяжной ноги обсыпаны были до колен, и весь сделавшийся кудрявым потный круп облеплен с правой стороны. Кисточка подпрыгивала так же в такт какого бы ни захотел воображать мотива, и сама пристяжная бежала так же, только по впадому, часто поднимающемуся и опускающемуся животу и отвисшим ушам видно было, как она измучена. Один только новый предмет останавливал внимание: это был верстовой столб, с которого сыпало снег на землю и около которого ветер намел целую гору справа и все еще рвался и перебрасывал сыпкий снег с одной стороны на другую. Меня ужасно удивило, что мы ехали целую ночь на одних лошадях двенадцать часов, не зная куда и не останавливаясь, и все-таки как-то приехали. Наш колокольчик звенел как будто еще веселее. Игнат запахивался и покрикивал; сзади фыркали лошади и звенели колокольчики троек старичка и советчика; но тот, который спал, решительно в степи отбил от нас. Проехав полверсты, попался свежий, едва занесенный следок саней и тройки, и изредка розоватые пятна крови лошади, которая засекалась, верно, виднелись на нем.

– Это Филипп! Вишь, раньше нас угодил! – сказал Игнашка.

Но вот домишко с вывеской виднеется один около дороги посреди снега, который чуть не до крыш и окон занес его. Около кабака стоит тройка серых лошадей, курчавых от пота, с отставленными ногами и понурыми головами. Около двери расчищено, и стоит лопата: но с крыши все метет еще и крутит снег гудящий ветер.

Из двери на звон наших колоколов, выходит большой, красный, рыжий ямщик со стаканом вина в руках и кричит что-то. Игнашка обертывается ко мне и просит позволения остановиться. Тут я в первый раз вижу его рожу.

XI

Лицо у него было не черноватое, сухое и прямоносое, как я ожидал, судя по его волосам и сложению. Это была круглая, веселая, совершенно курносая рожа, с большим ртом и светло, ярко-голубыми круглыми глазами. Щеки и шея его были красны, как натертые суконкой; брови, длинные ресницы и пушок, ровно покрывающий низ его лица, были залеплены снегом и совершенно белы. До станции оставалось всего полверсты, и мы остановились.

– Только поскорее, – сказал я.

– В одну минуту, – отвечал Игнашка, соскакивая с облучка и подходя к Филиппу.

– Давай, брат, – сказал он, снимая с правой руки и бросая на снег рукавицу с кнутом, и, опрокинув голову, залпом выпил поданный ему стаканчик водки.

Целовальник, должно быть, отставной казак, с полуштофом в руке, вышел из двери.

– Кому подносить? – сказал он.

Высокий Василий, худощавый русый мужик с козлиной бородкой, и советчик, толстый, белобрысый, с белой густой бородой, обкладывающей его красное лицо, подошли и тоже выпили по стаканчику. Старичок подошел было тоже к группе пьющих, но ему не подносили, и он отошел к своим привязанным сзади лошадям и стал поглаживать одну из них по спине и заду.

Старичок был точно такой, каким я воображал его: маленький, худенький, со сморщенным посинелым лицом, жиденькой бородкой, острым носиком и съеденными желтыми зубами. Шапка на нем была ямская, совершенно новая, но полушубчишка, истертый, испачканный дегтем и прорванный на плече и полах, не закрывал колен и посконного нижнего платья, всунутого в огромные валяные сапоги. Сам он весь сгорбился, сморщился и, дрожа лицом и коленами, копошился около саней, видимо, стараясь согреться.

– Что ж, Митрич, поставь косушку-то: согрелся бы важно, – сказал ему советчик.

Митрича подернуло. Он поправил шлею у своей лошади, поправил дугу и подошел ко мне.

– Что ж, барин, – сказал он, снимая шапку с своих седых волос и низко кланяясь, – всю ночь с вами плутали, дорогу искали: хоть бы на косушечку пожаловали. Право, батюшка, ваше сиятельство! А то обогреться не на что, – прибавил он с подобострастной улыбочкой.

Я дал ему четвертак. Целовальник вынес косушку и поднес старичку. Он снял рукавицу с кнутом и поднес маленькую черную, корявую и немного посиневшую руку к стакану; но большой палец его, как чужой, не повиновался ему: он не мог удержать стакана и, разлив вино, уронил его на снег.

Все ямщики расхохотались.

– Вишь, замерз Митрич-то как! аж вина не сдержит.

Но Митрич очень огорчился тем, что пролил вино.

Ему, однако, налили другой стакан и вылили в рот. Он тотчас же развеселился, сбегал в кабак, запалил трубку, стал ослаблять свои желтые съеденные зубы и ко всякому слову ругаться. Допив последнюю косуху, ямщики разошлись к тройкам, и мы поехали.

Снег все становился белее и ярче, так что ломило глаза, глядя на него. Оранжевые, красноватые полосы выше и выше, ярче и ярче расходились вверх по небу; даже красный круг солнца завиднелся на горизонте сквозь сизые тучи; лазурь стала блестящее и темнее. По дороге около станицы след был ясный, отчетливый, желтоватый, кой-где были ухабы; в морозном, сжатом воздухе чувствительна была какая-то приятная легкость и прохлада.

Моя тройка бежала очень быстро. Голова коренной и шея с развевающейся по дуге гривой раскачивались быстро, почти на одном месте, под охотничьим колокольчиком, язычок которого уже не бился, а скоблил по стенкам. Добрые пристяжные дружно натянули замерзлые кривые постромки, энергически подпрыгивали, кисточка билась под самое брюхо и шлею. Иногда пристяжная сбивалась в сугроб с пробитой дороги и запорашивала глаза снегом, бойко выбиваясь из него. Игнашка покрикивал веселым тенором; сухой мороз повизгивал под полозьями; сзади звонко-празднично звенели два колокольчика и слышны были пьяные покрикиванья ямщиков. Я оглянулся назад: серые курчавые пристяжные, вытянув шею, равномерно сдерживая дыхание, с перекосившимися удилами, попрыгивали по снегу. Филипп, помахивая кнутом, поправлял шапку, старичок, задрал ноги, так же как и прежде, лежал в середине саней.

Через две минуты сани закрипели по доскам сметенного подъезда станционного дома, и Игнашка повернул ко мне свое засыпанное снегом, дышащее морозом, веселое лицо.

– Доставили-таки, барин! – сказал он.

11 февраля 1856 г.